

Я опять пытаюсь объяснить то, что объяснить невозможно. Перейдем посему к делу.

Рассказы и повести Патрика прочитались быстро. Самое длинное его произведение — «9-й этажей» — занимало 16 страниц — это менее 10 % от объема неуклюжих и мертвых «Странников». Не зря говорят: «Краткость — сестра таланта». После прозы прочел я и стихи. Стихотворную речь я толком никогда не воспринимал, так что требовалось быть настоящим гуру, чтобы не вызвать во мне отторжения.

Патрик создал индивидуальную страничку в Интернете (до середины 2000-х годов такие странички были в моде у просвещенной публики, а позже появились социальные сети, где «рассказать о себе» мог уже любой олигофрен). На страничке Патрика я ознакомился с его рисунками и авторскими фото. Некоторые фотографии вызывали определенные вопросы, но поскольку Патрик позиционировал своего автобиографического героя как трансвестита, нужные ответы подыскались.

Впечатлениями требовалось с кем-то поделиться. Поскольку со мной никто не общался, я рассказывал обо всех событиях жизни только собственной матери.

Вот говорят, что в человека-де заложен первородный грех. Адам-де съел плод познания добра и зла, и все людишки с тех пор тоже с самого рождения жить не могут, пока добро и зло не познают. А ведь первородный грех не только в этом. Он вообще во всем. Взять, к примеру, наш язык. «Человек существо социальное». На языке у него сидит черт-дергун. Обо всем человечке надо разболтать. Не важно, интересно ли это

кому-то, слушает ли его кто-то, к каким последствиям приведет его болтливость. Ну да про последствия нам и так рассказывают священники. Последствия всегда одни — это ад. И поскольку загробной жизни нет, ад настигает болтливую человечку в подлунном мире.

Под «человечишкой» я перво-наперво разумею самого себя.

Познакомившись с Патриком, я, как говорилось выше, стал приближаться к воротам рая. Ад же был всегда. До рая. После рая. А благодаря моей болтливости — и во время рая.

Мать быстро распознала в Патрике агента влияния ФСБ. Она с не меньшей старательностью, чем я, изучила все его творчество и нашла столько угроз, сколько ни одному узнику Бухенвальда не снилось. Меня она всегда считала слабоумным. Посмотрев, с каким ужасающим простодушием восторгаюсь я Патриком, она просчитала, как именно ФСБ решила погубить нас, и стала готовиться к ответным мерам.

Я же, не особенно рассчитывая на успех, пригласил Патрика на лето в гости (сам он жил в Ростове-на-Дону, а я — в Москве). Летом все бы выгорело. Мы бы жили на даче, никто бы о нас не знал; я обрел бы нового друга, так на меня похожего, а он смог бы отдохнуть от опостылевших родителей и, возможно, устроился с моей помощью где-нибудь в Москве. Наверное, я казался бы ему неинтересным: он так хорошо знал жизнь, так здорово освещал ее. А кто такой я? Обычное ничтожество. Ну да ничего, разберемся. Если подружимся, Патрик меня всему научит.

Одного я не учел.

«Меня зовут Патрик, и я сумасшедший» — было написано на его странице. Я до сих пор считаю этого человека нормальнее всех на свете, да вот только сам он всегда стремился к идеалу «сумасшедшего».

Он сбежал из дома в апреле и направился в Москву.

* * *

Приезд Патрика в апреле немного не вписывался в мои планы на ближайшее будущее: главным пунктом в них значилось усиленное штудирование русской литературной классики с последующим поступлением в университет на филфак. Патрик сам сподвигнул меня на это: он учился на филологическом факультете Ростовского государственного университета и так красочно описывал студенческую жизнь, что и я решил стать филологом. С радиотехническим вузом отношения у меня не заладились, а второе мое «начало», гуманитарно-писательское, требовало реализации.

Выше я написал, что будущее — не освещенная солнышком дорожка в гору. И не от тебя зависит, провалиться ли тебе в горную расселину, сдохнуть ли от усталости по дороге к выбранному пьедесталу. Так и есть. Будущее знать нельзя, пусть бы и казалось оно предрешенным и очевидным.

«Приезжай», — был мой ответ. Целую неделю, до самого 23 апреля 2007 года, я жалел о сказанном. Я о любом своем решении жалею, однако в тот раз оно было самым правильным в моей жизни. Да, меня мучили сомнения. Вдруг Патрик — отвратительный грубый мужик? Или маньяк? Или торговец человеческими органами?

Сильнее всего волновался я 22-го числа, ночью. Я помню эту дату, потому что тогда умер Ельцин и народ ликовал. На следующий день, в 10 утра, Патрик должен был приехать на Казанский вокзал. Мне было не до веселья. Я не мог уснуть и, пытаюсь успокоиться, дергал струны гитары, которую купил на заработанные в фотопечати деньги и на которой надеялся научиться играть. У меня получалось что-то вроде задумчиво-медленного тиканья часов, состоящего не из двух звуков «тик-так», а из трех.

— Тик-тик, тик-так, тик-тик, тик-тук. Тик-тик, тик-так, тик-тик, тик-тук.

Я хотел, чтобы все это оказалось глупой шуткой и чтоб завтра на вокзале я бы тщетно проторчал два часа. Чтоб жизнь катилась по прямой траектории туда, куда я вижу.

Каким восхитительным было следующее утро! Я надел честно заработанную куртку из черной искусственной кожи и черные брюки с ботинками — костюм гота,

как зывал я этот наряд, самый приличный в моем гардеробе¹.

В 8 утра ощутимо подмораживало, и я дрожал, стоя на задней площадке «Икаруса» и глядя в окно на пути к ближайшей станции метрополитена. На телефон приходили сообщения от Патрика. Он рассчитывал приехать к десяти, но автобус, на который он сел, опередил график и прибыл на Казанский вокзал в восемь. Автобус Патрику подыграл: тот всегда говорил, что лучше проторчать на месте встречи два часа, чем заставляя ждать встречающего хотя бы десять минут.

Наши пути пересеклись на станции «Комсомольская» кольцевой линии метро, в торце зала, у подножья памятника Ленину. Патрик приехал с подругой, Катей, которая быстро нас покинула, отправившись по делам. Я остался с Патриком наедине. В его руках был пакет с важными вещами и сумка.

* * *

Есть в квантовой механике явление, называемое «туннельный эффект». Я знаю его благодаря поверхностному знакомству с радиотехникой, а именно с *туннельными диодами*. В советской «Детской энциклопедии» туннельный эффект описывается примерно так: «Представьте себе муху, бьющуюся о стекло. В макром мире у нее нет никаких шансов пройти сквозь него и оказаться на другой стороне. Но если мы возьмем вместо мухи электрон, дело будет обстоять иначе. В изменчивой вселенной квантовых законов, где всем правит теория вероятности, существует отличная от нуля возможность, что частица будет существовать по ту сторону казалось бы непреодолимого барьера».

С момента встречи с Патриком я попал в рай. А если не в рай, то в какое-то очень похожее место, как Тангейзер. Я сделал то, чего не удавалось никому. Странное, совершенно невозможное стечение обстоятельств привело к моей встрече с чудом, с удивительным человеком, которого я боготворю. Какое еще слово можно применить, помимо «рая»? «Настоящая жизнь»? Возможно. Этой «настоящей жизни» будут посвящены все остальные страницы резервной копии, сколько бы их ни было. Потому что больше мне вспоминать нечего. Что

¹ У меня был еще костюм неудачника, состоявший из вышедших из моды синих джинсовых брюк и куртки, купленных для меня матерью, которая по советской традиции считала джинсу символом благосостояния. И был еще костюм бомжа — дешевая спортивная форма, купленная для школьных уроков физкультуры, на которые почему-то запрещали приходить в удобных хлопчатобумажных джинсах. Вместо них заставляли напяливать китайскую синтетику, в которой прела жопа.

было до, что было после, — это точно не жизнь и не райское место.

Аналогия с раем мне нравится потому еще, что тот охраняется. И страж — уж не знаю, апостол ли это Петр или кто еще, — быстренько распознал, что в раю мне не место. Я был в аду всю жизнь и не сделал ничего, чтобы оттуда выбраться. В рай меня забросила статистическая флуктуация, сродни тем, при помощи которых работают туннельные диоды.

В бога я не верю и в мистику тоже. Апостол Петр не был гигантским седобородым стариком, гонящимся за мной с метлой по виноградным кущам. Он был стечением обстоятельств, роковым стечением.

Каждый шаг, который я совершил после своего попадания в рай (и до попадания), вел обратно во тьму, в которой мне предначертано было находиться со времен детского сада.

* * *

В то утро моя жизнь разделилась на две части. В первой части Патриком был древний святой, принесший в Ирландию христианство. Во второй — красивая девушка по имени Таня.

* * *

Домой добирались долго. Метро в моем районе до сих пор даже в планах не значится, а уж в те-то времена от ближайшей станции подземки мой дом отделяло порядка сорока минут езды на автобусе (без учета дорожных заторов). За это время мы многое успели обсудить. Я предупредил Патрика, что мать преследует ФСБ и нам следует держаться начеку. Ни в коем случае не должна была всплыть связь между настоящим Патриком и тем, что остался на графоманском сайте. Ведь Патрик на сайте уже дискредитировал себя: мать знала, что он агент. «Лучше будет, если мы скажем, что ты подруга моего покойного друга Димы, — предложил я. — Или лучше — дальняя родственница, с которой тот меня как-то познакомил. Ты убежала в Москву от тиранов-родителей».

Патрик, как и любой другой человек на его месте, должно быть, не сразу понял, что значит «преследует ФСБ», но возможность ознакомиться с проблемой детальнее ему представилась. Несмотря на неожиданное осложнение, он быстро воспринял сказанное мною, и мы решили действовать по намеченному плану.

Когда мы приехали ко мне и чай в кружках заварился, я спросил у Патрика, кто он. Конечно, я уже читал его рассказ «А когда надоест, возвращайся назад».

«Ну что я мог ему ответить? Сказать, что я ходячий (причем по воде) справочник самоубийцы? Студент романо-германского отделения факультета филологии и журналистики Ростовского государственного университета? Или просто придурок?»

Недонаркоман? Спаситель?!

— Меня зовут Патрик».

А правда ли, спросил я его, что он пытался покончить с собой?

«Но, черт возьми, как меня это достало, — писал Патрик в рассказе “Анальгин”, — постоянно все всем подтверждать и доказывать! Пришлось закатать рукав и показать ей свою левую руку с торчащими скрепками от степлера, выцарапанными на коже словами “Мне больно”, ожогами от сигарет и, самое главное, длинным уродливым шрамом, похожим на десны больного цингой. Потом еще продемонстрировал письмо из районной прокуратуры с отказом в возбуждении уголовного дела по факту попытки суицида».

Одно дело — читать чье-то творчество, а другое дело — общаться с автором вживую. Даже тогда я понимал, что главный герой, сколь бы автобиографичным он ни был, и автор произведения — это совсем разные люди.

Марин ответил, что он, по сути, никто. Справку из прокуратуры он мне показал, равно как и шрам от перерезанных вен на левой руке, ожоги от сигарет и серной кислоты, от скрепок степлера. Дабы предоставить хоть какую-то фактологическую информацию, он продемонстрировал содержимое своей сумки и пакета.

Там оказалась папка с рисунками, два компьютерных жестких диска с важной информацией, школьная серебряная медаль, пузырек с серной кислотой, еще один пузырек с черепом и костями на этикетке и надписью «Йад для аффтара», сотовый телефон, сторублевая купюра, много пенталгина и какие-то мелочи. (То есть мелочами они только мне казались, а Патрик взял их не зря.)

Содержимое мне понравилось. Хозяину таких вещей можно было доверять.

* * *

Надо сказать, что, несмотря на вещи, в Патрике я поначалу усомнился. Дело в том, что сразу по приезду ему требовалось встретиться с некой своей подругой, с коей он, как и со мной, познакомился через Интернет. Более или менее разобравшись в обстановке, мы отправились к ней.

Подруга Патрика жила в элитном жилом комплексе и проводила много времени с музыкантами-металлистами, даже пела в одной «готической» группе. Для

пущей готичности она взяла труднопроизносимый немецкий псевдоним (не помню какой). Лет ей было девятнадцать, а ее ребенку исполнился год. Она употребляла левомизетин, чтобы иметь осиную талию, но от препарата ей становилось плохо, и на протяжении нашей двухчасовой прогулки она более десятка раз едва не падала в обморок. Насколько я понимаю, последнее обстоятельство больше всего импонировало Патрику, поскольку отлично вписывалось в его концепцию саморазрушения. И ровно так же, как нравилось оно Патрику, отвращало оно меня. И все остальное отвращало. Но более всего было чувствовать, что, когда мы приехали, Патрик сразу же взял подругу свою за руку и стал разгуливать с нею по берегам унылого пруда, а я плелся за ними и не знал, что делать. Такое происходило в любой компании, где, помимо меня, присутствовало еще хотя бы два человека. Этим двоим, как только они друг друга видели, становилось до лампочки мое существование, и они только друг с другом и разговаривали, лишь изредка донимая меня идиотскими вопросами вроде «чего молчишь?», «чего грустишь?». Я, разумеется, понимал, что дело во мне, а не в Патрике, но все же обиделся на него, за то что он повел себя так же, как остальные, и уже меньше доверял ему. Эти сомнения, как и все остальные, еще сыграют с нами злую шутку.

А с подругой Патрик попрощался, и больше они никогда не встречались. Она хотела дать ему денег, но тот отказался. Он помнил о ста рублях у себя в сумке. Однако в школе нас учили всегда быть скромными.

* * *

Жалко, что Патрик не смог сказать, кто он. А с другой стороны, как он мог сказать? Ну спроси любого человека: «Кто ты?» — что он ответит? Что бы я сам ответил? Не думаю, что кто-либо способен дать более информативный и исчерпывающий комментарий.

* * *

В Ростове-на-Дону говорят на диалекте: там распространено диссимильативное аканье донского типа. Представлял ли я, что герои Патрика, в том числе и его автобиографический персонаж, — носители диссимильативного аканья? Нет, конечно. Поэтому, услышав донской говор, я сразу распознал перед собою настоящего, живого человека. Москва повергла Патрика в культурный шок (раньше он тут никогда не был). Меня умиляло, как он боялся эскалаторов в метро, как поражался архитектуре и длине пробок, как развевались его волосы, когда мы проникли на последний этаж одного высотного здания и смотрели на город с балкона

пожарной лестницы. Новое ощущение: я, житель столицы, объясняя гостю устройстве столичной жизни и всяческие достопримечательности — это тешило мое тщеславие (как будто в факте моего рождения в Москве имелась моя заслуга).

Нравилось мне и говорить с Патриком, безотносительно к обстановке. Сложно передать эмоции, которые я испытывал во время разговоров с ним. В этих разговорах начала формироваться моя личность. Словно я оказался в детской кроватке и, имея уровень самосознания взрослого человека, начал заново постигать мир.

Я-то постигал. Но мы — мы тратили время. Первые три дня мы гуляли, пытались попасть на Красную площадь, но там провожали в последний путь Ельцина, и вход перегородили. Я хотел дать Патрику время «прийти в себя и освоиться в новой обстановке». Я забыл, что в этом городе погибла двенадцатизыкая армия, оставившаяся передохнуть. Времени терять было нельзя.

На третий день мы планировали начать поиск работы для Патрика и даже купили газету с вакансиями. Но нашим планам не суждено было исполниться. Будущее — не прямая тропинка, освещенная солнцем, и чтобы не упасть в пропасть, недостаточно просто твердым шагом идти к намеченной цели. Оттого и планы строить — бессмысленно.

В игру включилась мать. Поначалу она нашей шпионской легенде поверила, но когда Патрик в первый раз остался у меня на ночь, она была озадачена и угнетена. На второй день смутное беспокойство усилилось. А на третий мы совершили последнюю ошибку — и оно обрело форму.

Возвратившись домой после похода на Красную площадь, мы забыли запереть входную дверь в квартиру.

Мы сразу же пошли на балкон, чтобы обсудить планы на завтра (а завтра предстояло трудоустройство).

Мать вошла незаметно. Она обнаружила квартиру незапертой, и это неприятно ее поразило. Что, если внутри агенты ФСБ? Мать прошла в мою комнату и увидела на столе рисунки Патрика. Она долго листала папку и в каждой работе, наполненной болью и насилием, читала намек. Это то, что ждет ее и меня. Перерезанные вены, лужи крови, петля под потолком... На одном рисунке она увидела белую кошку, истыканную ножами, спицами, иглами. Она напомнила ей нашу кошку, тоже полностью белую. ФСБ решила расправиться и с ней.

Когда мы вышли с балкона, раз сделанное предположение уже прочно укоренилось в голове матери и больше никогда ее не покидало. Я не хочу вспоминать, что было потом. Это был первый раз, когда мать смогла поговорить с агентом ФСБ лично, без всех этих наме-

ков в Интернете и на стенах подъезда. Я никогда не видел мать такой. Она напомнила мне мою кошку. С ней мы жили много лет: она была белая, пушистая, голубоглазая и невероятно добрая. И как-то раз притащил я с улицы другую кошку — просто так, из бессмысленной и иррациональной жалости. Моя кошка при виде нее оцетинилась, на ее спине поднялся гребень, словно у ископаемого мудоектиля, хвост стал раза в четыре толще, из страшной клыкастой пасти раздалось настоящее рычание, а затем противный, полный ненависти вой. Я и представить себе не мог такого.

На следующий день рано утром Патрик должен был покинуть наш дом навсегда.

* * *

Откуда же взялись рисунки Патрика у меня на столе? Дело в том, что накануне я взял их отсканировать, но сил не оставалось, и я должен был их спрятать (часть рисунков мать видела в Интернете). Но вместо того, чтобы затолкать их подальше, я всю ночь сидел над ними и

плакал, будто кисейная барышня. А наутро я их спрятать забыл.

Я вообще много тогда плакал. В тот же день, когда Патрик передал мне папку с рисунками, я увидел у нашего порога туфельки. Пыльные, старые. Я взял одну из них и расплакался, понимая, что люблю ее, эту маленькую, вконец разбитую туфельку.

Почему же я не убрал рисунки, не закрыл входную дверь, так долго тянул с трудоустройством? Это все апостол Петр, страж заповедных куц. Ходил по пятам, путал карты и выгонял из рая.

* * *

В восемь утра за Патриком захлопнулась дверь. Что поделать? Его туфелька была бесконечно мне дорога, и я, облачившись в костюм неудачника, отправился по ее следам.

К тому времени я уволился из фотопечати, и чтобы как-то жить дальше, требовалось найти работу для Патрика. Я устроиться не мог: мать выкрала мой паспорт,



и было неизвестно, смогу ли я его вернуть в ближайшие дни. У меня оставалось несколько тысяч рублей, на которые можно было продержаться какой-то срок. Я знал, что эти деньги уйдут быстро, на жилье их не хватит, и не особенно рассчитывал на финансовые сбережения.

Мы отправились в «ресторан» «Макдоналдс», располагавшийся на другом конце района. По дороге мы хорошенько промерзли: несмотря на приближение мая, дни становились все холоднее. В «Макдоналдсе» поутру не давали вкусных гамбургеров — только омерзительные жирные лепешки под каким-то издевательским названием, вроде «Здоровые завтраки». Эти лепешки нам запомнились надолго, как и сам «Макдоналдс».

После двух часов изучения газеты с вакансиями и звонков по сотовому телефону, изрядно подточивших наш бюджет, мы остановились на работе продавца книг. Патрик уехал устраиваться, а я решил заняться жилищным вопросом.

Логично предположить, что в мире, где детей не находят в капусте, а воспроизводят при помощи сложного процесса обмена ДНК с последующим внутриутробным развитием эмбриона, у каждого человека существует как мать, так и отец. Был отец и у меня.

В те далекие времена отец жил со своей матерью (моей бабушкой) в отдельной квартире. Он страдал тяжелой формой алкоголизма и редко выходил из дому. Для него, казалось мне тогда, все было предрешено: чад пьянок, одиночество, физический и интеллектуальный упадок, смерть от цирроза или инфаркта. Отец, хочу заметить, был человеком порядочным и интересным собеседником (когда был трезв). Но трезвым я его видел редко и старался потому держать дистанцию.

В квартире отца я все застал без изменений: прокуранный коричневый потолок, кучи полуразобранных, заросших паутиной телевизоров, оставшихся со времен исторического материализма, когда отец работал инженером на заводе «Рубин», и много мешков с хламом. Квартира у отца была трехкомнатная, с гигантской прихожей. Дедушка, который умер еще до моего рождения, работал в ЦК КПСС и одно время жил на Кутузовском проспекте в одном доме с Брежневым, но потом съехал в менее престижный район. У деда было двое детей. Младший отслужил десантником и вскоре после демобилизации напился и десантировался с пятого этажа на тротуар. Сломал спину и двадцать лет лежал на кровати. А потом умер. Это был мой дядя. Его я помню. Когда я был маленький и приезжал к отцу, тот много играл со мной. У дяди были висячие усы, как у американского дальнбойщика. Добрейшей души человек, честное слово. Только я, конечно, не представляю, как бабушка пережила все его проделки, а заодно и проделки отца. В 2007 году ей было восемьдесят три

года. Она тоже была очень добрая и хорошо понимала, что если ее не станет, с отцом обязательно произойдет что-нибудь скверное. Заснет с сигаретой во рту, пустит в квартиру маньяков, выбросится из окна, как дядя... Да мало ли! Что же касается самого отца, то он всегда радовался, когда я к нему приезжал (а приезжал я к нему один-два раза в год), и постоянно, напившись портвейна, звонил мне, приглашал в гости. Я обычно кидал трубку. В 2007 году мне хотелось думать, что ему, по большому счету, наплевать на меня: что ему просто-напросто не с кем поболтать — вот он и пристает ко мне. Я тогда знал, что трехкомнатную квартиру он завещал своему старшему сыну, а мне — хрен. Да и без этих коварных интриг мне попросту становилось страшно от той атмосферы угасания, что царила вокруг отца и его матери и в третьей, пустой комнате, где двадцать лет лежал дядя, — среди пыли, пауков и пустых бутылок.

Отец обрадовался моему приезду. Он был навеселе и на мой вопрос, можем ли мы с подружкой пожить в его квартире, пока не снимем собственное жилье, ответил, что, разумеется, можем, и его квартира — моя квартира. Выпив с ним пива, несколько раз услышав подтверждение договоренности и оставив в пустой комнате наши вещи, я отправился обратно в свой район, чтобы обсудить положение вещей с Ритой и Вадимом.

Я совсем не был уверен, что отец готов к набирающим ход событиям и что он воспринял мои слова в верном ключе.

Вадим еще не вернулся с работы, а Рита приняла меня радушно, как и обычно. Я крайне осторожно рассказал ей про Патрика, про то, что мы бомжи, и про отношения ФСБ и матери. Рита ответила, что насчет ФСБ догадывалась, хотя и боялась спрашивать об этом раньше. Новость о Патрике она восприняла с крайней настороженностью. Вадим недолюбливал провинциалов, считал их людьми наглыми и подлыми, готовыми на все, чтобы пробиться в москвичи. Рита разделяла его точку зрения. Оба они вскоре стали считать меня за восторженного дурачка. У них были на то причины: они знали, каким остопом я становлюсь при появлении симпатичной барышни. Я ни на что не в обиде.

Впрочем, Рита предложила мне денег и продукты. Продукты я взял, а от денег отказался (в школе нас учили быть скромными).

Незаметно прошел день. Патрик отработал свое и попытался поехать домой, но сложная система движения московских автобусов привела его в замешательство; его путь «домой» сильно удлинился, вымотав дополнительные силы и изрядно подействовав на нервы. Мы встретились у дома Риты — и оттуда начался новый путь: к отцу. Пока то да се, совсем стемнело.

В подъезде отца сидела старушка-консьерж. Она долго не хотела пускать нас, мотивируя это тем, что-де в каждую квартиру проведены домофонные трубки, по которым можно связаться с хозяевами квартир. Она не могла не знать, что отец на такую трубку денег тратить не стал, — она просто решила над нами поглумиться.

Войдя, мы долго звонили в отцовскую дверь, и хотя через глазок виднелся свет в прихожей, нам никто не открывал. Я пытался позвонить ему на телефон со своего сотового, однако в подъезде сеть не ловилась. Чтобы совершить, наконец, звонок, пришлось выйти на улицу. В квартире отца к телефону никто не подходил. Я подозревал, что он напился и требуется хорошенько постучать в дверь, дабы тот проснулся. Намекаясь это сделать, я попытался снова войти в подъезд. Проклятая бабка выгнала меня обратно, пообещав вызвать милицию.

И мы остались одни, на улице.

* * *

Я тогда еще верил, будто бы, помимо Димы, у меня осталось много хороших друзей. Я стал им звонить, тратя драгоценные деньги, но никто не мог приютить нас на ночь. Не зря говорят, что мать самое ценное в жизни. Если она отказалась принять тебя, то и никто не примет.

В гаражах поблизости орала пьяная шпана. Баба-консьержка следила за нами через окошко каморки. С презрением поглядывали на нас довольные граждане, выходявшие после длительного рабочего дня из автомобилей. «Опять маргиналы к нам во двор приперлись», — думали они.

До этого я никогда не оставался ночью на улице. Мне стало страшно, но Патрик не должен был видеть моего страха. Я тогда рассуждал обывательскими формулами, а по ним мужчина в любой ситуации должен внушать женщине, что все «будет хорошо».

— Все будет хорошо, — сказал я таким тоном, что Патрик сразу понял: «Приехали».

В пригаражной забегаловке мы купили пива, крабовых палочек, сосисок и хлеба и на одном из последних автобусов поехали в мой район. Я решил переночевать там: все-таки места знакомые. Помню, мы ехали в автобусе, и Патрик говорил, как красив ночной город с его рекламными щитами, фонарями и горящими окнами, и мне становилось спокойнее. Это вам не нелепое «все будет хорошо». Это магия слова. Патрик отлично знал, что ночью город красив потому, что в темноте не видно говна, но раз говна не видно, то в него куда легче вляпаться. Патрик знал, что мы в любой момент можем влипнуть в говно, но говорил о красоте.

На одной остановке в автобус вошла моя бывшая одноклассница и спросила, как у меня дела. В школе она была некрасивой забитой девчонкой, а потом ее, видно, кто-то оприходовал, и она стала до тошноты самоуверенной и вульгарной девкой, хотя при ее внешности можно было бы вести себя поскромнее. «Боже мой! — подумал я. — Мир не узнать! Год назад все было совсем не так!» А год — он как мгновение.

На пустыре за железной дорогой разожгли костер и жарили на нем хлеб и сосиски, пили пиво, чтоб не бояться. Когда костер совсем было погас, я долго еще кидал в него маленькие веточки, щепки, окурки, продлевая жизнь маленького пламени. Мне это казалось увлекательным, и Патрику тоже. А потом мы, так и не наевшись, не напившись и не согрившись, набрали на помойке газет и картонок, залезли на пожарную лестницу подъезда моего дома и забомжевали. Было дьявольски холодно; наших газет-картонок не хватило даже на одного человека, так что пришлось потом наворовать половиков из-под дверей счастливых обитателей тепленьких квартирок. Наконец, с грехом пополам устроившись, мы попытались уснуть. Страх мешал нам сильнее, чем холод. Мы боялись, что кто-нибудь придет на пожарную лестницу и обидит нас, просто так, от нечего делать, и мы не знали, что ждет нас завтра.

— Положись на меня, — сказал я Патрику. — Пока я не содох, ты не пропадешь.

И поклялся, что никогда не дам его в обиду.

* * *

То утро добрым не назовешь. В семь часов нас поднял холод. Я был зол. Я спустился к себе на этаж и стал долбить кулаком в дверь квартиры. Открыла мать. Было видно, что она всю ночь не спала. Я сказал ей, что она свинья, если заставляет ночевать в такую холодную на улице. Но, несмотря на пережитую внутреннюю борьбу, страх и ненависть к ФСБ и вера в мой идиотизм не отпускали ее.

«Ты можешь спать в квартире, — сказала мать. — А она — нет».

Мы опять позавтракали мерзкими лепешками из «Макдоналдса» и поехали к отцу. Собственно, за ночь я уже нашел выход из положения и знал, куда мы должны двинуться. Я бы к отцу и не заходил, но у него в квартире оставались завезенные вчера необходимые вещи.

Похмельный отец открыл дверь со словами: «Какого хрена надо?!» Узнав меня, он нахмурился и сказал: «А, это ты... Заходи...» Он думал, что это местные алкоголики пришли, чтоб денег просить. Как я и предполагал, вчера он напился до бесчувственности и не мог ходить, а у бабушки прихватило сердце, и она не под-

ходила к двери, хоть и слышала, как мы звонили. Отец пообещал, что такого больше не повторится, познакомился с Патриком и предложил нам чаю.

В школе нас приучали к гордости. Я был горд и дьявольски зол и, схватив рюкзак, покинул квартиру.

Это было ошибкой. Надо было остаться. И вчера надо было не спать на улице, а подождать чуть-чуть и снова позвонить по телефону — тогда бы бабушка открыла. Ночь на улице стала чудовищной ошибкой, не менее чем рисунки, оставленные на столе на виду у матери. Но тогда я об этом не знал. И я не видел никаких гарантий, что отец снова не напьется и не оставит нас на улице. Апостол Петр исправно выполнял свой долг.

* * *

Оставалось последнее убежище: дача. Патрик совсем измотался, думал я. Эти переезды, скандалы, поиски работы, снова скандалы, холод, голод — от этого и взрослый свихнуться может. Пусть поживет на даче, отдохнет, разберется в мыслях. А потом, с новыми силами, — покорять нашу гору.

Чудовищная ошибка. Три дня промедления — оставленные на столе рисунки — незакрытая дверь — неудавшаяся попытка дозвониться — ночь на улице — и теперь дача.

Можно подумать, я страдал. Нет. Я находился в раю. Эти несколько дней, начиная со смерти Ельцина, были самым лучшим отрезком моей жизни. И если и накатывала временами злость, то не потому, что было плохо, а потому лишь, что я чувствовал, как жизненные невзгоды причиняют боль Патрику, чью тувельку я любил.

«Такая жизнь, как твоя, — писал он в повести “9-й этажей”, — штука очень хрупкая, но и очень ценная. Такой человек — как сверхточный вычислительный механизм. Этот механизм может производить миллионы действий в секунду, но достаточно уронить его со стола — и он станет бесполезной горкой мусора. Ты должен понимать. Для лучшей сохранности вычислительные машины упаковывают в специальную защиту, а такие, как ты, содержатся в специальных учреждениях — университетах, частных заинтересованных конторах и, понятное дело, психушках». Это описание подходит к самому Патрику более чем к кому-либо другому.

Мы приехали на дачу, в огромный пустой дом. Убежали от проблем. Несколько дней жили там, проедали деньги, грелись у неправильно спроектированной печки (которая ни черта не грела), спали на разваленном диване под грудой тряпья, слушали рок на старинной ламповой радиоле и не знали, чем себя развлечь.

Два раза к нам приезжал мой товарищ Иван. Он, как и я, был крайне впечатлен творчеством Патрика и немало удивился, узнав, что тот на самом деле. Мы гуляли втроем по пустым весною дачным окрестностям, ходили к озеру, только-только освободившемуся ото льда, пели песни «Сектора Газа». Мы с Патриком сфотографировались с серпом и молотом в руках, как рабочий и колхозница. Мы нашли в кладовке старинный чугунный уют и возносили ему молитвы, превратив его в алтарь великого бога Шизы. Наша новая религия должна была избавить человечество от страданий.

Но самое замечательное, чем мы занимались, — это сбор на железной дороге кусков каменного угля, выпавших из товарных поездов. В дачном доме стоял собачий холод, топить печь было нечем, и мы жили собирательством. С тех пор я всегда, когда вижу на железной дороге кусок каменного угля, подмигиваю ему и говорю что-нибудь вроде: «Ух ты, кто это у нас тут лежит? Такой большой и такой черный! Отстал от своих, да? Ну, не печалься, все не просто так». Очень я каменный уголь люблю.

Мать стала нас преследовать. Она приезжала два или три раза и скреблась под дверь. Я тогда совершил еще одну ошибку: впустил ее в дом. Меня еще не покинула надежда как-то помирить их с Патриком. Мать стала рассказывать, что меня используют, что Патрик — агент ФСБ, что на самом деле ему не семнадцать лет, а двадцать один. «Представь себе на секунду, что я права», — любила говорить она, объясняя методы работы ФСБ. Сказала она так и в тот раз. А я был очень внушаем (в школе учили прислушиваться к словам родителей). Да и не только в том была причина. Я ведь верил в мать. Она всегда мне помогала, насколько могла. Она была хорошим человеком. И Патрик был человеком хорошим. Оттого в голове не укладывалось, как это так: два хороших, умных человека не могут найти друг с другом общий язык. Мне казалось, что тут какое-то недоразумение, что стоит сделать шаг матери навстречу, и компромисс будет найден.

Мать попросила Патрика показать паспорт, дабы все убедились, что ему не двадцать один год. Я дал согласие, и Патрику пришлось предъявить свой документ. Понятное дело, лет ему было именно семнадцать, однако мать интересовало вовсе не это. Быстренько пролистав паспорт, она была такова.

Вообще же несколько дней на даче нас морально разложили. Ни Патрик, ни я ничуть не отдохнули — лишь терзались сомнениями. Мы, конечно, старались отдохнуть. Я, к примеру, даже купил в поселке пачку тетрадей и десяток ручек, чтобы мы могли заниматься писательством. Ну не дурак ли? Впрочем, Патрик и вправду писал какие-то заметки о Москве, о своем бег-

стве. Он не показывал уныния, хотя я и знал, как ему тяжело.

Долгими вечерами мы сидели в темноте перед горящей печкой, тщетно пытаюсь согреть огромный пустой дом. Патрику это очень нравилось. А я мечтал о временах, когда и от дома, и от всего мира останутся одни развалины и мы разведем на этих развалинах костер. Пусть все рухнет — зато мы будем победителями, а не жалкими беглецами в четырех стенах.

Подобно многим в юном возрасте, я представлял неминуемый конец света как выход, освобождение людей из плена этого душного и пыльного мира, которым правят грязные зеленые бумажки.

* * *

На даче мы совсем было утратили чувство времени. Но время напомнило о себе, пожрав наши грязные зеленые бумажки. Пора было браться за ум.

В Москву мы вернулись 1 мая. Предприняли еще одну попытку проникнуть на Красную площадь, но ОМОН отгородил ее от трудящихся с красными знаменами, а заодно и от нас. Зато мы снова встретились с Иваном и его другом Д., показали Патрику Арбат и совершили еще одну ошибку: из центра Москвы отправились пешком до нашего района. Этого ни в коем случае нельзя было делать. На даче мы с Патриком питались на редкость скверно, и он совсем ослаб, хоть и никак не показывал этого. Ей-богу, лучше б мы берегли силы для новых испытаний, которые ждали нас уже вечером.

Нам негде было спать, вот в чем дело. К отцу ехать я категорически не желал, решив, что лучше переночевать в подъезде. С темнотой мы развели костер на том же месте, что и в нашу первую ночь на улице. Я положил в него огромный старый пень, и тот выгорел изнутри. Когда костер погас, внутри пня продолжали тлеть скопления искр, словно красные галактики в фантастически свернутом пространстве или как светящиеся улочки в туннеле метро после конца света. Патрику тоже нравилось. Он думал, что пень исполнит наши желания, подарит нам счастье.

Мы отправились в подъезд моего дома, на пожарную лестницу, и только приготовились устроиться среди наших половиков и картонок, как нагрянула мать. Намто было невдомек, что она стала каждую ночь обходить все этажи, выискивая новые послания ФСБ, зашифрованные в надписях на стенах и комбинациях мусора возле мусоропровода. Пришлось нам сбежать. Но куда идти? В другой подъезд? А вдруг мы нарвемся на маляков, грабителей или бдительных граждан, любящих вызывать милицию? Мы очень, очень боялись людей и

ждали от них любой подлости. И я решил заночевать на пешеходном мосту через железную дорогу. По мосту проходили трубы теплотрассы, и в их опорах нашлось достаточно места, чтобы уместиться вдвоем.

Ночь выдалась адская. На майские праздники в нашей климатической зоне всегда приходится похолодание; 2007 год не стал исключением. Отопление в домах к маю уже отключают, так что и трубы, под которые мы забились, были совсем холодные. Но самым холодным предметом были поезда, с ревом проносившиеся прямо под нами. Казалось, в вагонах уезжает на Северный полюс сама Зима. Ветер, поднимаемый поездами, продувал меня до последней косточки, и никакие картонки не спасали. Плохо быть бездомным, очень плохо. Уж лучше с собой покончить, чем до конца жизни так вот мотаться.

Ночь сломала Патрика. Он начал кашлять и весь дрожал. Дух борьбы покинул его окончательно. А вот я был здоров и полон сил. Удивительно: я кашлял до приезда Патрика, но после первой ночи в подъезде организм понял, что к капризам его никто прислушиваться не намерен, и стал работать как часы.

* * *

Я еще не знал, что такое бездна. Тем не менее я чувствовал, как сильно мы к ее краю приблизились. Инстинкт самосохранения взял верх над привитыми в школе «кристинами». Я наступил на горло собственной гордости и здравомыслию и повез Патрика к отцу. Я понял, что на улице мы точно погибнем, а у него дома, возможно, удастся уцелеть.

Приехав к отцу, мы получили в распоряжение пустующую комнату и стали готовиться к добыванию денег.

В нашей, да и в других «цивилизованных» странах очень пекутся о правах несовершеннолетних. Однако везде, куда ни плюнь, несовершеннолетние работают на самых трудных, неблагодарных и унижительных работах, причем за жалкие гроши. Мойщик автомобилей, посуды, промоутер, курьер — все это должности, на которые в здравом уме устроится лишь тот, кто ничто лишен чувства собственного достоинства, и прежде всего дети. А ведь дети испытывают желание отомстить. Их унижали, а они, когда вырастают и становятся начальниками (или не становятся — не знаю, что хуже), принимают смешивать с дерьмом следующее поколение мальчиков на побегушках. Страшно подумать, сколько мы делаем привычных вещей, которые являются по сути своей варварством, заставляющим историю идти по кругу или, скорее, по эллиптической орбите, то опасно приближаясь к каменному веку, то немного отдаляясь.

О потере предыдущей работы Патрик не жалел. Много лет спустя я узнал, что, таская по подземным переходам огромную сумку с книгами, он надорвался, повредил внутренние органы и долго потом лечился. Тогда он мне об этом не сказал, но я видел, что лучше подумать что-то другое.

Мы остановились на вакансии промоутера, обязанности которого заключались в раздаче рекламных листовок прохожим. После ночи на мосту у Патрика начался жар, но делать было нечего, и он выпил какую-то разрекламированную химическую дрянь, которая не лечит, а только снимает симптомы болезни: боль, слабость и температуру — и позволяет болезни бесчинствовать в организме сколько душе угодно. Он выпил с удовольствием, чувствуя, что разрушает себя. И, довольный, уехал. Не остался сидеть дома и я.

В квартире, из которой нас выгнали, оставалась моя коллекция старой радиоэлектроники. Подавляющая часть экспонатов была найдена на помойке и не стоила вообще ничего. Но были и ценные экземпляры: к примеру, немецкие радиолампы времен Второй мировой войны. На них стоял штамп «Wehrmacht». Кроме того, я коллекционировал монеты: у меня имелось несколько десятков различных юбилейных экземпляров. Их можно было использовать при разменных операциях.

Дома сидела мать. Пока я вытаскивал из ящиков и шкафов годный к продаже антиквариат и потрошил коллекцию, она пыталась вправить мне мозги, рассказывая о новых расшифрованных ею угрозах ФСБ.

— Вот это кто написал? — спросила она, указав на мой принтер.

В первый день я попросил Патрика оставить автограф, и тот написал на недавно купленном мною принтере свой девиз: *Illud utinam ne vere scriberem*, что переводилось с латыни примерно как: «Хотелось бы мне, чтобы все, что я пишу, было неправдой». Цицерон сказал.

— И что это значит? — спросила мать.

Я объяснил.

— Здесь написано «И ты нам не веришь — убедем», — убежденно сказала мать. — Сам посмотри.

U ti nam ne verescr iberem.

* * *

Холод на улице не унимался. С неба сыпала снежная крупа. Я бродил по продуваемому всеми ветрами Митинскому радиорынку и выискивал покупателей радиобарахла. Противный район это Митино, не зря он находится на севере Москвы. Аванпост столицы, на который приходится первые удары стужи. Не удивлюсь, если там бывает полярное сияние.

Мне везло — в кои-то веки! Три тысячи с лишним я в тот день выручил. Патрик тоже удачно устроился и честно раздал всю вверенную ему пачку рекламы. Потрудились мы на славу, но отдых нас ждал весьма сомнительный.

Отец получил пенсию (он был инвалидом) и тотчас принялся ее пропивать. Я знал, что пока он не пропьет все свои, а заодно и бабушкины деньги, то не успокоится. Когда мы с Патриком вернулись в квартиру, отец был уже серьезно под мухой. Он требовал, чтобы мы пили с ним гнусный портвейн «777», именуемый в народе «Три топора», и ругался, что я редко у него бываю. Я не очень его боялся: на одной из пьянок отцу сильно повредили ножом ногу; с тех пор он еле ходил.

Бабушка вела себя не лучше падре. Она охала, бегала вокруг нас, страшно суетясь. Пыталась как могла помочь нам, не понимая, что мы нуждаемся лишь в одном: чтобы от нас *все отстали*. Когда это наконец произошло и мы расстелили матрас на полу пустующей комнаты, настало безграничное счастье. Мало кто знает, что это такое: лечь на мягкий матрас в теплой квартире после ночей в подъезде, в ледяном дачном доме и на чертовом мосту. Это блаженство.

Так и зажили. Днем вкалывали, ночью прятались в захлапленной комнате. Отец каждый раз напивался так, что не мог ходить, а только ползал на четвереньках и орал с надрывом: «Я вас всех ненавижу!» Бабушка говорила ему: «Вставай, вставай, пойдем на диван», — а тот ей отвечал: «А я не могу». Он так говорил это «а я не могу», что я на своем матрасе корчился от хохота. Невозможно повторить интонацию падре. Он заявлял это со всей ответственностью и с ледяным спокойствием. Он констатировал факт, как если б говорил «угол падения равен углу отражения».

Иногда отец ломился в нашу комнату, но я забаррикадировал дверь огромным и тяжелым советским телевизором «Радуга-703Д», и он так и бился в судорогах безграничной ненависти в темном коридоре. Бабушка очень переживала из-за него. Она рассказывала нам свои безысходные истории: как двадцать лет лежал на кровати дядя и как страшно и тяжело отошел он однажды ночью в мир иной; как отец, живя в квартире от ЦК КПСС на Кутузовском проспекте, в одном доме с Брежневым, стрелял из окна из винтовки, и какие потом неприятности были у дедушки; как в 80-е годы он познанился с какой-то подлой девицей, подставившей его и подведшей под суд, как ему чуть не ампутировали ногу после ранения ножом в пьяной драке...

Бабушка переживала не только из-за отца, но и из-за нас с Патриком. Я уже говорил, что отец завещал квартиру моему старшему брату — его сыну от первой жены, который встречался со мной только один раз в

жизни и безумно с тех пор презирал. На всякий случай уточню. Квартира была не просто завещана, а подарена. По договору отец со своей матерью могли в ней прожить остаток жизни, а брат обязался вносить за них квартплату и оплачивать коммунальные услуги.

Свинство, сплошь свинство. Все за меня решили. Советский Союз развалили, не спросив, хочу я в нем жить или нет. Планету засрали. Медицину уничтожили. Образование испоганили. Квартиру отдали. А меня обвиняли в ничтожности, когда я не мог все это расхлебать.

Так или иначе, но квартира, сказала бабушка, не их, и не у нее с отцом нужно спрашивать, можно ли мне здесь жить. Спрашивать надо у брата (который такой перспективе едва бы обрадовался).

Подозреваю, бабушка тоже хитрила. Брат навещался к отцу раз в год. Он работал в какой-то солидной фирме, занимающейся сотовыми сетями, и вечно пребывал в заграникомандировках, так что узнать он обо мне не мог, если б только ему никто не доложил.

Бабушка хитрила не со зла. О нет. Она *желала мне добра*. Патрику она не доверяла, считая, что тот меня использует. И все, кто хоть как-то был знаком со мной, думали аналогичным образом. Да и знать меня было не обязательно. Мать постаралась донести известия о моем знакомстве с Патриком до наиболее широких кругов общественности. Например, до моих школьных учителей. Или до своих приятельниц, дрессированных зюгановских старушек. Про ФСБ она им до поры до времени не рассказывала, а именовала Патрика просто «проститутка». И эти старухи, равно как и вышедшие на пенсию учительницы, названивали мне на сотовый телефон и долго внушали, что «общаться с проститутками плохо». Я молчал в ответ. Как объяснить им, что это мой звездный час, единственный правильный поступок в моей жизни, что *именно я* — прав, а *они все* — нет. И послать их я не мог: в школе нас учили вежливости.

Продолжение следует.

